

Людмила Штерн
Поэт без пьедестала: Воспоминания об
Иосифе Бродском

Серия «Диалог»

Людмила Штерн была дружна с юным поэтом Осей Бродским еще в России, где его не печатали, клеймили «паразитом» и «трутнем», судили и сослали как тунеядца, а потом вытолкали в эмиграцию. Она дружила со знаменитым поэтом Иосифом Бродским и на Западе, где он стал лауреатом премии гениев, американским поэтом-лауреатом и лауреатом Нобелевской премии по литературе. Книга Штерн не является литературной биографией Бродского. С большой теплотой она рисует противоречивый, но правдивый образ человека, остававшегося ее другом почти сорок лет. Мемуары Штерн дают портрет поколения российской интеллигенции, которая жила в годы художественных исканий и политических преследований. Хотя эта книга и написана о конкретных людях, она читается как захватывающая повесть. Ее эпизоды, порой смешные, порой печальные, иллюстрированы фотографиями из личного архива автора.

*Светлой памяти дорогих и любимых
Гены Шмакова, Алекса и Татьяны
Либерман*

Я считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность друзьям Иосифа Бродского и моим друзьям за неоценимую помощь, которую они оказали мне при написании этих воспоминаний.

Я очень обязана замечательному фотографу, хроникеру нашего поколения Борису Шварцману за разрешение использовать его уникальные фотографии в этой книге.

Спасибо Мише Барышникову, Гарику Воскову, Якову Гордину, Галине Дозмаровой, Игорю и Марине Ефимовым, Ларисе и Роману Капланам, Мирре Мейлах, Михаилу Петрову, Евгению и Надежде Рейн, Ефиму Славинскому, Галине Шейниной, Юрию Киселеву и Александру Штейнбергу за письма и материалы из их личных архивов.

Я также пользовалась дружескими советами Льва Лосева и Александра Сумеркина, которых, к моему глубокому сожалению, не могу поблагодарить лично.

И, наконец, — бесконечная признательность моему мужу Виктору Штерну за неизменную поддержку постоянно сомневающегося в себе автора.

ОТ АВТОРА

За годы, прошедшие со дня смерти Иосифа Бродского, не было дня, чтобы я не вспоминала о нем. То, занимаясь чем-то, с литературой никак не связанным, бормочу его стихи, как иногда мы напеваем под нос неотвязный мотив; то вспыхнет в мозгу отдельная строчка, безошибочно определяющая душевное состояние этой минуты. И в самых разных ситуациях я задаю себе вопрос: «А что бы сказал об этом Иосиф?»

Бродский был человеком огромного масштаба, сильной и значительной личностью, обладавшей, к тому же, редким магнетизмом. Поэтому для тех, кто близко его знал, его отсутствие оказалось очень болезненным. Оно как бы пробило осязательную брешь в самой фактуре нашей жизни.

Писать воспоминания об Иосифе Бродском трудно. Образ поэта, сперва непризнанного изгоя, преследуемого властями, дважды судимого, побывавшего в психушках и в ссылке, выдворенного из родной страны, а затем оваянного славой и осыпанного беспрецедентными для поэта при жизни почестями, оказался, как говорят в Америке, «larger than life», что вольно можно перевести — грандиозный, величественный, необъятный.

Бродский при жизни стал классиком и в этом качестве уже вошел в историю русской литературы второй половины XX века. И хотя известно, что у классиков, как и у простых людей, имеются друзья, заявление мемуариста, что он (она) — друг (подруга) классика, вызывает у многих недоверие и подозрительные ухмылки.

Тем не менее за годы, прошедшие со дня его кончины, на читателей обрушилась лавина воспоминаний, повествующих о близких отношениях авторов с Иосифом Бродским. Среди них есть аутентичные и правдивые заметки людей, действительно хорошо знавших поэта в различные периоды его жизни. Но есть и недостоверные басни. При чтении их создается впечатление, что Бродский был на дружеской ноге — выпивал, закусывал, откровенничал, стоял в одной очереди сдавать бутылки, советовался и делился сокровенными мыслями с несметным количеством околосредственного люда.

Дружить, или, хотя бы, быть лично знакомым с Бродским сделалось необходимой визитной карточкой человека «определенного круга».

«Надрались мы тогда с Иосифом», или: «Ночью заваливается Иосиф» (из воспоминаний ленинградского периода), или: «Иосиф затащил меня в китайский ресторан», «Иосиф сам повез меня в аэропорт» (из мемуара залетевшего в Нью-Йорк «друга») — такого рода фразы стали расхожим паролем для проникновения в сферы. Недавно на одной московской тусовке некий господин рассказывал с чувством, как он приехал в Шереметьево провожать Бродского в эмиграцию и каким горестным было их прощание. «Вы уверены, что он улетал из Шереметьева?» — спросила бестактная я. «Откуда ж еще», — ответил «друг» поэта, словно окатив меня из ушата...

Удивительно, что при такой напряженной светской жизни у Бродского оказывалась свободная минутка *стишата* сочинять. (Употребление слова *стишата* не является с моей стороны амикошонством. Именно так Бродский называл свою деятельность, тщательно избегая слово *творчество*.)

Полагаю, что и сам Иосиф Александрович был бы приятно удивлен, узнав о столь многочисленной армии близких друзей.

...Иосиф Александрович... Мало кто величал Бродского при жизни по имени-отчеству. Разве, что в шутку его американские студенты. Я назвала его сейчас Иосифом Александровичем, ему же и подражая. У Бродского была симпатичная привычка величать любимых поэтов и писателей по имени-отчеству. Например: «У Александра Сергеевича я заметил...» Или: «Вчера я перечитывал Федор Михалыча»... Или: «В поздних стихах Евгения Абрамыча...» (Баратынского. — *Л. Ш.*).

Фамильярный, как может показаться, тон моей книжки объясняется началом отсчета координат. Для тех, кто познакомился с Бродским в середине семидесятых, то есть на Западе, Бродский уже был Бродским. А для тех, кто дружил или приятельствовал с ним с конца пятидесятых, он долгие годы оставался Осей, Оськой, Осенькой, Осюней. И только перевалив за тридцать, стал и для нас Иосифом или Жозефом.

Право писать о Бродском «в выбранном тоне» дают мне тридцать шесть лет близкого с ним знакомства. Разумеется, и в юности, и в зрелом возрасте вокруг Бродского были люди, с которыми его связывали гораздо более тесные отношения, чем с нашей семьей. Но многие друзья юности расстались с Иосифом в 1972 году и встретились вновь шестнадцать лет спустя, в 1988. На огромном этом временном и

пространственном расстоянии Бродский хранил и любовь, и привязанность к ним. Но за эти годы он прожил вторую, совсем другую жизнь, приобретя совершенно иной жизненный опыт. Круг его знакомых и друзей невероятно расширился, сфера обязанностей и возможностей радикально изменилась. Иной статус и почти непосильное бремя славы, обрушившееся на Бродского на Западе, не могли не повлиять на его образ жизни, мироощущение и характер. Бродский и его оставшиеся в России друзья юности оказались в разных галактиках. Поэтому, шестнадцать лет спустя, в отношениях с некоторыми из них появились заметные трещины, вызванные или их непониманием возникших перемен, или нежеланием с ними считаться.

В Штатах у Бродского, помимо западных интеллектуалов, образовался круг новых русских друзей. Но они не знали рыжего, задиристого и застенчивого Осю. В последние пятнадцать лет своей жизни он постепенно становился не просто непререкаемым авторитетом, но и мэтром, Гулливером мировой поэзии. И новые друзья, естественно, относились к нему с почти религиозным поклонением. Казалось, что в их глазах он прямо-таки мраморел и бронзовел в лучах восходящего солнца.

...Наше семейство оказалось в несколько особом положении. Мне посчастливилось оказаться в том времени и пространстве, когда будущее солнце Иосиф Александрович Бродский только-только возник на периферии сразу нескольких ленинградских галактик.

Мы познакомились в 1959 году и в течение тринадцати лет, вплоть до его отъезда в эмиграцию в 1972 году, проводили вместе много времени. Он любил наш дом и часто бывал у нас. Мы были одними из первых слушателей его стихов.

А три года спустя после его отъезда наша семья тоже переселилась в Штаты. Мы продолжали видеться и общаться с Бродским до января 1996 года. Иначе говоря, мы оказались свидетелями почти всей его жизни.

Эта давность и непрерывность определила специфику наших отношений. Бродский воспринимал нас с Виктором почти как родственников. Может быть, не самых близких. Может быть, не самых дорогих и любимых. Но мы были из его стаи, то есть — «абсолютно свои».

Иногда он раздражался, что я его опекаю, как еврейская мама, даю непрошенные советы и позволяю себе осуждать некоторые поступки. Да еще тоном, который давно никто себе не позволяет.

Но, с другой стороны, передо мной не надо ни казаться, ни красоваться. Со мной можно не церемониться, можно огрызнуться, цыкнуть, закатить глаза при упоминании моего имени. Мне можно дать неприятное поручение, а также откровенно рассказать то, что мало кому расскажешь, попросить о том, о чем мало кого попросишь. Ему ничего не стоило позвонить мне в семь часов утра и пожаловаться на сердце, на зубную боль, на бестактность приятеля или истеричный характер очередной дамы. А можно и в полночь позвонить — стихи почитать или спросить, «как точно называется предмет женского туалета, чтобы был вместе и бюстгальтер, и пояс, к которому раньше пристегивали чулки». (Мой ответ: «грация».) «А корсет не годится?» — «Да нет, не очень. А почему тебе нужен именно корсет?» — «К нему есть клевая рифма».

Бродский прекрасно осознавал природу наших отношений и, несмотря на кочки, рытвины и взаимные обиды, по-своему их ценил. Во всяком случае, после какого-нибудь яркого события, встречи или разговора он часто полушутя-полусерьезно повторял: «Запоминай, Людесса... И не пренебрегай деталями... Я назначаю тебя нашим Пименом».

Впрочем, для настоящего «пименства» время еще не пришло. Как писал Алексей Константинович Толстой,

Ходить бывает склизко по камешкам иным,
О том, что очень близко, мы лучше умолчим.

...Эта книжка — воспоминания о нашей общей молодости, о Бродском и его друзьях, с которыми мы были связаны долгие годы. Поэтому в тексте будут постоянно фигурировать нескромные местоимения «я» и «мы». Это неизбежно. Иначе, откуда бы мне было известно все то, о чем здесь написано?

Среди любителей русской словесности интерес к Бродскому острый и неослабевающий. И не только к его творчеству, но и к его личности, к его поступкам, характеру, стилю поведения. Поэтому мне, знавшей его много лет, захотелось описать его характер, поступки, стиль поведения.

Эта книжка не является документальной биографией Бродского и не претендует ни на хронологическую точность, ни на полноту материала. Кроме того, поскольку я — не литературовед, в ней нет и намека на научное исследование его творчества. В этой книжке есть правдивые, мозаично разбросанные, серьезные и не очень рассказы, истории, байки, виньетки и миниатюры, связанные друг с другом именем Иосифа Бродского и окружавших его людей.

Существует симпатичное американское выражение «person next door», что можно вольно перевести как «один из нас». В этих воспоминаниях я хочу рассказать об Иосифе Бродском, которого, в силу обстоятельств нашей жизни, я знала и воспринимала как одного из нас.

Глава I

НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ

Чтобы объяснить, как и почему я оказалась в орбите Иосифа Бродского, мне следует коротко рассказать о себе и своей семье.

Биографии писателей, художников, композиторов и актеров часто начинаются шаблонной фразой: «Родители маленького Саша (Пети, Гриши, Миши) были передовыми, образованнейшими людьми своего времени. С детства маленького Сашу (Петю, Гришу, Мишу) окружала атмосфера любви и преданности искусству. В доме часто устраивались литературные вечера, концерты, ставились домашние спектакли, велись увлекательные философские споры...»

Все это могло быть сказано о моей семье, родись я лет на сто или пятьдесят раньше. Но я родилась в эпоху, когда те, кто мог сидеть в уютной гостиной, сидели в лагерях, а другие, кто был еще на свободе, не музицировали и не вели увлекательных философских споров. Писатели, художники, композиторы боялись раскланиваться на улице.

Когда в 1956 году мой отец праздновал день своего рождения, за столом собрались двадцать человек, и среди них не было ни одного, избежавшего ада сталинских репрессий.

Мне невероятно повезло с родителями. Оба — петербургские интеллектуалы с яркой и необычной судьбой. Оба были весьма хороши собой, блестяще образованны и остроумны. Оба были общительны, гостеприимны, щедры и равнодушны к материальным благам. Меня не унижали, никто не ущемлял моих прав и мне очень мало что запрещали. Я росла и взрослела в атмосфере доверия и любви.

Отец по характеру и образу жизни был типичным ученым, логичным и академичным. Он обладал совершенно феноменальной памятью — на имена, на стихи, лица, числа и номера телефонов. Был щепетилен, пунктуален, справедлив и ценил размеренный образ жизни.

Мама, напротив, являла собой классическую представительницу богемного мира — артистичную, капризную, непредсказуемую и спонтанную.

Хотя по характеру своему и темпераменту они казались несовместимыми, но прожили вместе сорок лет в любви и относительном согласии.

Мой отец, Яков Иванович Давидович, закончил в Петербурге Шестую гимназию цесаревича Алексея. (В советское время она стала 314-й школой.) Его одноклассником и приятелем был князь Дмитрий Шаховской, будущий архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Их сблизила любовь к поэзии и политике. Во время Гражданской войны оба служили в Белой армии. Отец был ранен и попал в Харьковский госпиталь, а князь Шаховской оказался в Крыму и оттуда эмигрировал во Францию.

Отец стал юристом, профессором Ленинградского университета, одним из лучших в стране специалистов по трудовому праву и истории государства и права. (Кстати, среди его учеников был и Собчак.) На его долю пришелся весь «джентльменский набор» эпохи. В начале войны отца не взяли на фронт из-за врожденного порока сердца и сильной близорукости. Ему было поручено спасать и прятать книги из спецхрана Публичной библиотеки. Там он был арестован по доносу своих сотрудников за фразу «Надо было вооружаться, вместо того чтобы целоваться с Риббентропом».

Первую блокадную зиму отец провел в следственной тюрьме Большого Дома. Следователь на допросах, для большей убедительности, бил отца по голове томом Марксова «Капитала».

Отец остался жив абсолютно случайно. Его «дело» попало к генеральному прокурору Ленинградского военного округа — бывшему папиному студенту, окончившему юридический факультет за три года до войны. Одной его закорючки оказалось достаточно, чтобы «дело» было прекращено, и полуживого дистрофика вывезли по льду Ладожского озера в город Молотов (Пермь). Мы были эвакуированы туда с детским интернатом Ленинградского отделения Союза писателей. В этом интернате мама работала то уборщицей, то воспитательницей, то медсестрой.

В 1947-м, сразу после защиты докторской диссертации, отца объявили космополитом и выгнали из университета. У него случился обширный инфаркт, что в сочетании с врожденным пороком сердца на двенадцать лет сделало его инвалидом. Вернулся он к преподаванию в 1959 году, а пять лет спустя, в 1964-м, умер от второго инфаркта.

Папиной страстью была русская история. Он досконально знал историю царской семьи и был непревзойденным знатоком русского военного костюма. Ираклий Андроников в книжке «Загадка Н. Ф. И.» рассказал, как отец по военному

костюму молодого офицера на очень «невнятном» портрете сумел «разгадать» Лермонтова.

В последние годы жизни отец консультировал многие исторические и военные фильмы, в том числе «Войну и мир». После его смерти мы подарили его коллекцию оловянных солдатиков, фотографии старых русских орденов и медалей, а также рисунки, эскизы и акварели костюмов киностудии «Мосфильм».

До 1956 года мы жили на улице Достоевского, 32, в квартире 6, а над нами, в квартире 8, жила адвокат Зоя Николаевна Топорова с сестрой Татьяной Николаевной и сыном Витей. Мы были не только соседями, но и друзьями. Не знаю, была ли Зоя Николаевна в прошлом папиной студенткой (возможно, они познакомились позже), но за чаем они часто обсуждали различные юридические казусы.

В своей книге «Записки скандалиста» Виктор Леонидович Топоров пишет, что пригласить его маму, Зою Николаевну Топорову, в качестве адвоката Иосифа Бродского посоветовала Ахматова.

Вполне возможно, что и Анна Андреевна тоже. Но я помню, как отец Бродского, Александр Иванович, на следующий день после ареста Иосифа приехал к моему отцу просить, чтобы он порекомендовал адвоката. Отец прекрасно знал весь юридический мир и назвал двух лучших, с его точки зрения, ленинградских адвокатов: Якова Семеновича Киселева и Зою Николаевну Топорову. После разговора втроем и папа, и Александр Иванович, и сам Киселев решили, что Якову Семеновичу лучше устраниваться. Он, хоть и носил невинную фамилию Киселев, но обладал уж очень этнически узнаваемой наружностью. На суде это могло вызвать дополнительную ярость господствующего класса. Зоя Николаевна Топорова — хотя тоже еврейка — но Николаевна, а не Семеновна. И внешность не столь вызывающая, еврейство «не демонстрирующая». Такая наружность вполне могла принадлежать и «своему».

Зоя Николаевна была человеком блестящего ума, высочайшего профессионализма и редкой отваги. Но все мы, включая и папу, и Киселева, и Зою Николаевну, понимали, что, будь на ее месте сам Плевако или Кони, выиграть этот процесс в стране полного беззакония невозможно.

В 1956 году мы покинули коммуналку на улице Достоевского (до революции эта квартира принадлежала маминим родителям) и переехали на Мойку, 82. Этот огромный, в прошлом доходный дом выходил сразу на три

улицы: на переулок Пирогова, на Фонарный переулок, знаменитый Фонарными банями со скульптурой медведя на лестнице, и на Мойку. В этом же доме жил Алик Городницкий, с которым мы вместе учились в Горном институте. К Городницким вход был с Мойки, а наш подъезд — с переулка Пирогова (бывшего Максимилиановского).

Невзрачный переулок Пирогова оканчивался тупиком — кажется, единственным в Ленинграде. И в тупике этом была потайная дверь бурого цвета, почти неотличимая от такой же бурой стены. Настолько незаметная дверь, что многие живущие в переулке граждане даже не подозревали о ее существовании.

А между тем через эту дверь можно было проникнуть в закрытый, невидимый с улицы и как бы изолированный от городской жизни сад Юсуповского дворца.

Однажды папа повел нас — Бродского, меня и наших общих приятелей Гену Шмакова и Сережу Шульца — в этот сад и с мельчайшими подробностями рассказал о роковом вечере убийства Распутина. Он знал, из какой двери выбежал Феликс Юсупов, где стоял член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич и что делала в этот момент жена Юсупова, красавица Ирина...

С тех пор Бродский часто проникал через потайную дверь в тупике в Юсуповский сад.

«Когда я там, ни одна живая душа не знает, где я. Как в другом измерении. Довольно клевое ощущение», — говорил он.

Тупик нашего переулка даже упомянут в оде, написанной Иосифом моей маме в день ее девяностопятилетия. Вот из нее отрывок:

При мысли о вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
Дом Связи с антеннами — аиста
со свертком подобье гнезда.

Как знать, благодарная нация
когда-нибудь с кистью в руке
коснется, сказав «реставрация»,
теней наших в том тупике.

Папа коллекционировал оловянных солдатиков. Раза два в месяц к нам из военной секции Дома ученых приходили его друзья, «задвинутые» на военной истории России. Они, кроме

папы, были уже пенсионерами, а в прошлом имели высокие военные звания. Помню хорошо двоих: Романа Шарлевича Сотта и Илью Лукича Гренкова. Роман Шарлевич, среднего роста, с бледным, нервным лицом, отличался повышенной худобой. У него были огромные выпуклые глаза, что придавало ему сходство с раком. Когда Сотт смеялся, они буквально выскакивали из орбит. Под тонким хрящеватым носом красовались невиданной красоты холеные усы. Время от времени Роман Шарлевич расчесывал их серебряной щеточкой. Мама восхищалась его галантностью, безупречными манерами и говорила, что он — «типичный виконт». А наша няня Нуля придерживалась другого мнения: «Шарлевич, как кузнечик, исхудавши весь».

Илья Лукич, напротив, был пышный, мягкий и уютный. Его гладкие розовые щеки напоминали лангеты и, когда он смеялся, надвигались на глаза и напрочь их закрывали.

Оба приходили со своими оловянными драгунами, уланами и кирасирами. Крышка рояля опускалась, и на черной полированной поверхности «Беккера» устраивалось какое-нибудь знаменитое сражение. Собиралось довольно много народа, и наши «полководцы» рассказывали, как располагались полки, кто кого прикрывал, с какого фланга начиналась наступление.

«Сегодня у нас состоится Бородинское сражение, — вдохновенно говорил папа, — рояль — Бородинское поле. Мы находимся в трехстах метрах от флешей Багратиона. С другой стороны, метрах в семистах, — Бородино. Мы начинаем с атаки французов. Справа двигаются две дивизии Дессе и Компана, а слева полки вице-короля».

«Минуточку, — перебивал Илья Лукич, — пока они никуда не двигаются. Разве вы забыли, Яков Иванович, что они начали атаку, получив в подкрепление дивизию Клапарена, и ни минутой раньше?»

В этот момент, Роман Шарлевич внезапно терял свои виконтские манеры и, впадая в XIX век, перебивал полковника: «Нет-с, простите-с, не так было дело... Не знаете — не суйтесь, милейший. Наполеон отменил дивизию Клапарена и послал дивизию Фриана, что было с его стороны роковой ошибкой. А когда пошел в атаку наш драгунский полк...» — «Он не пошел, не пошел! — топал ногой Илья Лукич. — Яков Иванович, подтвердите, что драгунам был приказ не наступать, пока...» Ну и так далее.

Бродский очень любил эти военные вечера. Он облокачивался на крышку рояля и внимательно следил «за

передвижением войск». Я помню, с каким замороженным лицом Иосиф слушал объяснения «военачальников» об ошибках и Наполеона, и Кутузова во время Бородинского сражения, и не раз высказывал свое мнение, как следовало бы им поступить.

Кроме Бродского на военные вечера приходили Илюша Авербах, Миша Петров и часто спускался с третьего этажа наш сосед и общий с Бродским приятель Сережа Шульц, геолог, знаток и любитель искусств. Наивный, деликатный, всем желающий добра, Сережа и внешне, и внутренне очень напоминал Маленького принца из сказки Сент-Экзюпери. После женитьбы он иногда спускался к нам со слезами на глазах — пожаловаться на молодую жену за то, что хочет ходить по театрам и кино, вместо того чтобы учить с ним по вечерам французский язык.

Однажды его мама Ольга Иосифовна, тоже геолог, ворвалась к нам с белым лицом и сказала, чтобы мы немедленно «все это» уничтожили — наверху у Сережи идет обыск. В то время в квартире еще были печи. Мы затопили печь и начали «все это» бросать в огонь. Сережа был книжным фанатиком, он снабжал нас самиздатом и абсолютно недоступными западными изданиями Оруэлла, Замятина, Даниэля и многих других «прокаженных». Он открыл для меня Набокова.

Тридцать пять лет спустя, на конференции, посвященной 55-летию Бродского, в Петербурге, Сережа Шульц передал мне для Иосифа подарок — свою книгу «Храмы Санкт-Петербурга» с таким автографом: «Дорогому, милому Иосифу (ибо сегодняшнего Жозефа Бродского представляю себе туманнее, чем Осика нашей юности), далеко-далеко улетевшему из Санкт-Петербурга — на память о нем и обо мне, в надежде на встречу где-нибудь, когда-нибудь».

Этой встрече не суждено было состояться.

Как-то мы с отцом собрались в Русский музей и пригласили Бродского и Шульца к нам присоединиться.

Проходя мимо репинского «Заседания Государственного совета», Иосиф спросил, кто кого знает из сановников. Сережа знал шестерых, я — двоих. «Многих», — сказал отец. Мы уселись на скамейку перед картиной, и папа рассказал о каждом персонаже на этом полотне, включая происхождение, семейное положение, заслуги перед отечеством, романы, козни и интриги. Мы провели в «Государственном совете» два часа и пошли домой. На дальнейшее любование живописью не было сил.

С тех пор мой отец стал для Иосифа авторитетом в самых разнообразных сферах.

Очень тепло, даже с нежностью, Бродский относился к моей матери, Надежде Филипповне Фридланд-Крамовой. Мама родом из еврейской «капиталистической» семьи. Ее дед владел заводом скобяных изделий в Литве. Однажды мой отец случайно наткнулся в Публичной библиотеке на устав этого завода, из которого следовало, что еще в 1881 году там был восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск для рабочих. Будучи специалистом по трудовому праву, отец заочно маминого деда «одобрил».

Мамин отец Филипп Романович Фридланд был известным в Петербурге инженером-теплотехником. Как-то, отдыхая в Базеле (а возможно, на каком-то другом швейцарском курорте), он оказался в одном пансионате с Лениным. Они подружились на почве русских романсов — Ленин пел, Филипп Романович аккомпанировал. По вечерам, выпив пива, они совершали долгие прогулки, и Ленин развивал перед дедом идеи о теории и практике революции. Расставаясь, они обменялись адресами. Уж не знаю, какой адрес дал деду Владимир Ильич (возможно, что шалаша), но Филипп Романович и вправду получил от будущего вождя два или три письма.

Полагаю, что ленинские идеи произвели на деда сильное впечатление, потому что в 1918 году, схватив жену, пятилетнего сына и восемнадцатилетнюю дочь (мою будущую маму), дед ринулся в эмиграцию. На полдороге революционно настроенная мама сбежала от родителей и вернулась в Петроград. Следующая ее встреча с остатками семьи состоялась через пятьдесят лет.

В 1917 году мама закончила Стоюнинскую гимназию, в которой учились многие выдающиеся дамы, в том числе Нина Николаевна Берберова и младшая сестра Набокова Елена Владимировна.

Мамина жизнь вообще и карьера в частности были невероятно разнообразными. Она играла в театре «Балаганчик» с Риной Зеленой. Оформителем спектаклей был Николай Павлович Акимов, режиссером — Семен Алексеевич Тимошенко. После закрытия театра мама снималась в кино — например, в главных ролях в таких известных в свое время фильмах, как «Наполеон-Газ», «Гранд-отель» и «Минарет смерти». Хороша она была необыкновенно, этакая роковая *femme fatale*, прозванная «советской Глорией Свенсон».

В юности мама посещала поэтические семинары Гумилева. Как-то на одном из занятий она спросила: «Николай Степанович, а можно научиться писать стихи, как Ахматова?»

«Как Ахматова вряд ли, — ответил Гумилев, — но вообще научиться писать стихи очень просто. Надо придумать две приличные рифмы, и пространство между ними заполнить по возможности не очень глупым содержанием».

Мама была знакома с Мандельштамом, Ахматовой и Горьким, играла в карты с Маяковским, дружила со Шкловским, Романом Jakobсоном, Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, Зощенко, Каплером, Ольгой Берггольц и другими, теперь уже ставшими легендарными людьми. О встречах с ними и о своей юности мама, в возрасте девяноста лет, написала книгу воспоминаний «Пока нас помнят».

Оставив сцену, мама занялась переводами и литературной работой. Она перевела с немецкого пять книг по истории и теории кино, написала несколько пьес, шедших на сценах многих городов Союза, а во время папиной болезни, когда его «инвалидной» пенсии едва хватало на еду, наострилась писать сценарии для «Научпопа» на самые невероятные темы — от разведения пчел до научного кормления свиней.

Приехав в Бостон в возрасте семидесяти пяти лет, мама организовала театральную труппу, назвав ее со свойственной ей самоиронией ЭМА — Эмигрантский Малохудожественный Ансамбль. Она сочиняла для ЭМЫ скетчи и тексты песен и сама играла в придуманных ею сценках. Она написала более сорока рассказов, которые были опубликованы в русскоязычных газетах и журналах в Америке, Франции и Израиле, а в девяносто девять лет издала поэтический сборник с «вычурным» названием «СТИХИ».

Благодаря родителям моя юность прошла в обществе замечательных людей. В нашем доме бывали директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели с женой Антониной Николаевной (Тотей) Изергиной, одной из самых остроумных женщин того времени; Лев Львович Раков, который основал Музей обороны Ленинграда, а отсидев за это, стал директором Публичной библиотеки; художник Натан Альтман, автор известного портрета Анны Ахматовой, с Ириной Валентиновной Щеголевой. Бывали молодой еще физик Виталий Лазаревич Гинзбург и режиссер Николай Павлович Акимов. Кстати, именно Акимов познакомил моих родителей, так что я косвенно обязана ему своим существованием. Бывали органист Исай Александрович

Браудо с Лидией Николаевной Щуко, писатель Михаил Эммануилович Козаков с Зоей Александровной (с их сыном Мишей Козаковым мы дружим с детского сада).

Часто бывал у нас и Борис Михайлович Эйхенбаум с дочерью Ольгой. С Эйхенбаумом связана такая забавная история. В девятом классе нам было задано домашнее сочинение «по Толстому». Я выбрала «Образ Анны Карениной». В тот вечер к нам пришли гости, и в том числе Борис Михайлович. Я извинилась, что не могу ужинать со всеми, потому что мне надо срочно «накатать» сочинение. «О чем будешь катать?» — спросил Эйхенбаум. Услышав, что об Анне Карениной, Борис Михайлович загорелся: «Ты не возражаешь, если я за тебя напишу? Хочется знать, гожусь ли я для девятого класса советской школы».

На следующий день я пришла к Эйхенбауму в «писательскую надстройку» на канале Грибоедова за своим сочинением. Оно было напечатано на машинке, и мне пришлось его переписывать от руки в тетрадь. До сих пор проклиная себя за то, что не сохранила этот, теперь уже исторический, текст.

За сочинение об Анне Карениной Эйхенбаум получил тройку. Наша учительница литературы Софья Ильинична с поджатыми губами спросила: «Где ты всего этого нахваталась?»

Борис Михайлович был искренне огорчен. И трояком, и насмешками, и хихиканьем друзей...

С годами ряды «старой гвардии» начали редеть. Дом наполнялся моими друзьями, и родители их приняли и полюбили. В 1964 году умер мой отец, но мама оставалась душой нашей компании вплоть до 1975 года, до отъезда в эмиграцию.

В декабре 1994 года мы праздновали в Бостоне мамино девяностопятилетие, на которое был приглашен и Бродский. К сожалению, он плохо себя чувствовал и приехать не смог. Вместо себя он прислал маме в подарок поздравительную оду.

ОДА

*Надежде Филипповне Крамовой на день ее
девяностопятилетия 15 декабря 1994 года*

Надежда Филипповна, милая!
Достичь девяносто пяти
упрямство потребны и сила — и

позвольте стишок поднести.

Ваш возраст — я лезу к вам с дебрями
идей, но с простым языком —
есть возраст шедевра. С шедеврами
я лично отчасти знаком.

Шедевры в музеях находятся.
На них, разеваючи пасть,
ценитель и гангстер охотятся.
Но мы не дадим вас украсть.

Для Вас мы — зеленые овощи,
и наш незначителен стаж.
Но Вы для нас — наше сокровище,
и мы — Ваш живой Эрмитаж.

При мысли о Вас достижения
Веласкеса чудятся мне,
Учелло картина «Сражение»
и «Завтрак на травке» Мане.

При мысли о вас вспоминаются
Юсуповский, Мойки вода,
Дом Связи с антеннами — аиста
со свертком подобье гнезда.

Как редкую араукарию,
Людмилу от мира храня,
и изредка пьяная ария
в подъезде звучала моя.

Орава кудряво-чернявая
клубилась там сутками сплошь,
талантом сверкая и чавкая,
как стайка блестящих галош.

Как вспомню я вашу гостиную,
любому тогда трепачу
доступную, тотчас застыну я,
вздохну и слезу проглочу.

Там были питье и питание,
там Пасик мой взор волновал,

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru